

Тэффи. Анафемы

*...Многие голоса высказались
на киевском миссионерском съезде
за постановление личного церковного
анафематствования как исправительной
меры.
Из газет*

Молодой дьякон Владыкесвоемушуйцулобызященский озабоченно разбирал на столе груды записочек, сортировал их, откладывал стопками.

— Пятнадцать анафем, да четыре онамедняшних, которые, значит, онамедни поступили... да еще десять старых анафем...

— Ты чего, отец, ругаешься? — с упреком сказала дьяконица.

Дьякон бросил на нее вскользь удивленный взгляд и продолжал свою работу.

— Да казенных анафем... Гришка Отрепьев... болярин граф Лев Толстой, иже написа «Анну Каренину», да частного поступления раз... два... о Господи!.. восемь... одиннадцать анафем! Одних частных анафем одиннадцать!

— А ты бы отобрал, отец. Может, которые не к спеху, так и отложить можно.

— Не отложишь! Это, брат матушка, не пустяк. Служба!

— Ну, отваляй как-нибудь. Чего там!

— Отваляй? Нет, брат, не отваляешь! Это вы там промеж себя, по женскому делу, так у вас все в скороговорку идет. «Ах ты, такая, мол, сякая, анафема! От анафемы и слышу!» А у нас эдак нельзя. Дело ответственное. Нужно голосом вывести.

Вон еще две какие-то записочки. Эти-то что? «О здравии болящей Макриды». Нашли время! Лезут с Макридой! Тут от одной анафемы не продохнуть. Вон господин певец Собинов прислал анафему на всех собинисток, «иже фа диез не приемлют...». Кажись так, ежели я не спутал чего.

— Трудно нынче жить стало! — вздохнула дьяконица. — Все как-то по-особенному...

— От Луриха... «Сатирикону» анафема, иже не пятятся задом, подобно Симу и Иафету, прикры наготу чемпионову, но яко Хам надругался. И будьте добры, отец диакон, ежели возможно, до седьмого колена..." Опытная рука писала. Посоветуюсь.

— Ох! Дела, дела!

— От тайного советника Акимова... Государственному Совету анафема. Господи! И с чего бы это? Вот уж, именно, как сказано: сами себя и друг друга. Буквально — весь живот свой! Неисповедимо! Вот сама посуди, дьяконица, неисповедимо ли это?

— Как быдто нет. Казенная анафема-то?

— Нет, приватного свойства.

— Мудренное дело! Как кончишь — пойдти на кухню; там тебя баба спрашивает.

— Баба? Скажи, что теперь не до молебнов. Ежели покойничек доспеет, так пусть на погребке полежит. Небось не убежит. Не разорваться же. Крестины? Я на крестины поеду, а анафемы ждать будут? Нет, это не дело. Позови-ка бабу сюда. Тебе чего? А? Крестить? Соборовать?

— Батюшка, — кланялась баба, — яви таку божеску милость! Хушь немножечко! Хушь один разок. Светильник ты наш! Хушь шепотком в полчаса!

— Да ты насчет чего?

— Да насчет этой самой... насчет анафемы! Уж такая ли она анафема, что и произнести нельзя! Уж эдакой анафемы и свет не производил! У кого хочешь спроси. Наш волостной писарь тоже человек, а уж и тот говорит, что ежели она...

— Да кто анафема-то?

— Да свекровушка моя! Вся деревня знает. Кого хошь спроси! Уж эдакой анафемы... Прослышали мы, что теперь можно в церкви, ну и порешили промеж себя. Ан, думаю, пойду к отцу дьякону, поклонюсь ему курицей. Потому, так ее сколько ни гвозди, она и ухом не поведет. А ежели церковным порядком — это дело крепкое!

Дьякон задумался.

— Нет, тетка, это дело неподходящее.

— Уж верь, батюшка, совести! Уж ежели это не анафема, так уж и не знаю.

— Не лезь, тетка, — вмешалась дьяконица. — Говорят тебе, нельзя. Ужасно балованный народ пошел. Распушенность! Сегодня прихожу в кухню, а Ксюшка, анафема, сидит и толстовскую книжку про мужика читает. Ты это, говорю, что читаешь? Ты, говорю, анафема, зачем анафему читаешь?..

— Явите божеску милость, — захныкала баба. — Ну хошь разок! Курицей поклонюсь.

— Хошь петухом, а ежели нет указа.

— Как нет?

— А так. Разрешение от полиции имеешь? Докторское свидетельство есть? Да еще правильно ли твоя анафема прописана? Может, у нее документ не в порядке. тут вон, матушка, какие лица анафематствуют. Можно сказать, личности! А ты с пустяком лезешь. Разве можно!

— Можно! Сама слышала. Вся деревня знает. Графа-то намедни как проклинали? А? Анафема! Распроанафема. И чтобы трижды проклят и дважды заклят, тьфу, тьфу и тьфу! Все знают! Думаешь, темный народ, так и прав своих не понимает? Графу так и то, и се, и на все амвонах, а как простому человеку, так и сунуться некуда! Видно, господам-то везде не то, что нашему брату.

Ну, Бог с тобой, коли тебе, дьякон, сиротская слеза не солоня. Пойду домой. Уж я ж ее, анафему, облаю. Хошь мы и темный народ, на попа, на дьякона не учены... Сиди без курицы!

Александр Куприн. Анафема

- Отец дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, - сказала дьяконица. - Время вставать.

Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины - подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренно боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса, грудная клетка - точно корпус автомобиля, страшный голос, и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым.

Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно-длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично: смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром. Еще лежа в постели, отец Олимпий пробовал голос.

- Via... кмм!.. Via-a-a!.. Аллилуйя, аллилуйя... Обаче... кмм!.. Ма-ма... Мам-ма...

"Не звучит голос", - подумал он.

- Вла-ды-ко-бла-го-сло-ви-и-и... Км...

Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чипу и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамение, он также бледнел от волнения и думал: "Ах, не сорваться бы!" Однако только один он во всем городе, а может быть, и во всей России, мог бы заставить в тоне ре-фис-ля звучать старинный, темный, с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на паникадилах.

Жеманная кислая дьяконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям, стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос:

- Ми... ми... фа... Ми-ро-но-сицы... Эй, мать, - крикнул он в другую комнату дьяконице, - дай мне ре на фисгармонии.

Жена протянула длинную, унылую ноту.

- Км... км... колеснице-гонителю фараону... Нет, конечно, спал голос.

Да и черт подсунул мне этого писателя, как его?

Отец Олимпий был большой любитель чтения, читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке "устава", на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертуллиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами снабжал его студент из Вифанской академии Смирнов, и как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на

зверей.

Это чтение взбудоражило стихийную протодьяконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочался с боку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом.

В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось. Так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз, откашливаясь, попробовал голос. "Км, км... звучит в ре, - подумал он.

- А этот подлец непременно задаст в до-диез. Все равно я переведу хор на свой тон".

В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловня всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким же благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре.

Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт бряцали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы спасителя и богородицы и положили их на аналой.

Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма, с винтовым ходом вверх.

Медленно, ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни - он всегда боялся, как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, - поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от до к ре и начал:

- Благослови, преосвященнейший владыко.

"Нет, подлец регент, - подумал он, - ты при владыке не посмеешь перевести мне тон". С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно, переходит свободно из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора.

Шел чин православия в первую неделю великого поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков - будущий профессор гомилетики.

Протодьякон время от времени рычал: "Воимем"... "Господу помолимся". Стоял он на своем возвышении огромный, в золотом, парчовом, негнувшемся стихаре, с черными с сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородыми толстопузыми старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков.

"Странно, - вдруг подумал Олимпий, - отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, похожи либо на рыбью морду, либо на куриную голову... Вот и дьяконица тоже..."

Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой по требнику XVII столетия. Псаломщик кончил молитву: "Всевышний боже, владыко и создателю всея твари". Наконец - аминь.

Началось утверждение православия.

"Кто бог великий, яко бог наш; ты еси бог, творяй чудеса един".

Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает анафематствования, написанные по специальным поводам: проклятие Ивашке Мазепе, Стеньке Разину, еретикам: Арию, иконоборцам, протопопу Аввакуму и так далее и так далее.

Но с протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена.

Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме, с необычайной яркостью, всплывали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но, безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал "аминь" и по древнему ключевому распеvu возгласил: "Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди".

Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона преблаженного отца и пастыря Андрея Критского, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжающим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви: иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, немонаха Нила, Константина-Булгариса и Ириника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь, магометан, богомоллов, жидовствующих, проклял хулящих праздник благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников: Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение, противное православной вере.

Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания.

"Помышляющим, яко православию государи возводятся на престолы не по особливому от них божию благоволению, и при помазаний дарования святого духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются, и тако дерзающим противу их на бунт и измену. Ругающим и хулящим святые иконы". И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: "Анафема".

Давно в толпе истерически всхлипывали женщины.

Протодьякон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея: по распоряжению преосвященнейшего владыки анафемствовать боярина Льва Толстого. "См. требник, гл. л.", - было приписано в записке.

От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло. Однако он откашлялся и опять начал: "Благослови, преосвященнейший владыко". Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея:

"Протодиаконство твое да благословит господь бог наш, анафемствовати богохульника и отступника от веры Христовой, блядословно отвергающего святые тайны господни боярина Льва Толстого. Во имя отца, и сына, и святого духа".

И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими, точно из стальной проволоки. И в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести:

"...Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

- Дура, дура! - заговорил он. - Куда летишь? Дура! Дура! - Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек. - Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, - приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. - Сама себя губишь, а я тебя жалею".

"Боже мой, кого это я проклинаяю? - думал в ужасе дьякон. - Неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности".

Но, покорный тысячелетней привычке, он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу, точно удары огромного медного колокола...

...Бывший поп Никита и чернцы Сергей, Савватий да Савватий же, Дорофей и Гавриил... святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хотят; все за такое богопротивное дело да будут прокляты...

Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной.

"А то раз сидел на воде, смотрю - зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чьи такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то черт: взял за ножки да об угол! Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить".

...Хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пес возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его... И да приидет проклятельство и анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо... Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удушение, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение... да будет отлучен и анафемствован и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется и земля его да не примет, и да будет часть его в геенне вечной, и мучен будет

день и ночь...

Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова:

"Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше живет и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь".

Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые, наряду с чином исповедания мирских человек, мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства.

Лицо его стало синим, почти черным, пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок. Но он справился. И, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно:

- Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, боярину Льву...

Он замолчал на секунду. А в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченная одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным,

как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

- ...Многая ле-е-е-та-а-а-а.

И вместо того чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали на всю церковь: "Многая, многая, многая лета".

На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались: отец настоятель, отец благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

- Оставьте меня... Оставьте в покое, - сказал отец Олимпий гневным свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. - Я сорвал себе голос, но это во славу божию и его... Отойдите!

Он снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный, прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть.

Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав ряссы, залепетала:

- Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Наглotalся с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

- Все равно, - прошипел, глядя в землю, дьякон. - Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. "Все бог сделал на радость человеку", - вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

- Дурак ты! Верзило! - закричала дьяконица. - Скажите - на радость! Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!.. Я пойду к губернатору, до самого царя дойду... Допился до белой горячки, бревно дубовое.

Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие воловьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово:

- Ну?!

И дьяконица впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала.

А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.